

**Л. Н. Толстой**

**Детство. Отрочество.  
Юность**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
Т52

Т52 **Толстой Л.Н.**  
Детство. Отрочество. Юность / Л. Н. Толстой – М.: Книга по Требованию,  
2015. – 384 с.

**ISBN 978-5-518-01279-0**

**ISBN 978-5-518-01279-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2015

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2015

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



## КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ 1).

Я отдаю дань общей всёмъ авторамъ слабости—обращаться къ читателю.

Обращенія эти большей частью дѣлаются съ цѣлью: снискать благорасположеніе и снисходительность читателя. Мнѣ хочется тоже сказать нѣсколько словъ вамъ, читатель; но съ какой цѣлью? Я, право, не знаю, судите сами.

Всякій авторъ—въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, когда пишетъ что бы то ни было—непрѣнно представляеть себя: какимъ образомъ подѣйствуетъ написанное. Чтобы составить себѣ понятіе о впечатлѣніи, которое произведетъ мое сочиненіе, я долженъ имѣть въ виду одинъ извѣстный родъ читателей.

Какимъ образомъ могу я знать, понравится или нѣтъ мое сочиненіе, не имѣя въ виду извѣстный типъ читателя? Одно мѣсто можетъ нравиться одному, другое—другому, и даже то, которое нравится одному, не нравится другому. Всякая откровенно выраженная мысль, какъ бы она ни была сложна, всякая ясно переданная фантазія, какъ бы она ни была нелѣпа—не могутъ не имѣть сочувствія въ какой-нибудь душѣ. Ежели онѣ могутъ родиться въ чьей-нибудь головѣ, то найдется непрѣнно такая, которая отзовется ей. Поэтому всякое сочиненіе должно нравиться, но не всякое сочиненіе нравится все и одному человѣку.

Когда все сочиненіе нравится одному человѣку, то такое сочиненіе, по моему мнѣнію, совершенно въ своемъ родѣ. Чтобы достигнуть этого совершенства—всякій авторъ надѣется на совершенство—я нахожу только одно средство: составить себѣ ясное, опредѣленное понятіе объ умѣ, качествахъ и направленіи предполагаемаго читателя.

Поэтому я начну съ того мое обращеніе къ вамъ, читатель, что опишу васъ. Ежели вы найдете, что вы не похожи на того читателя, котораго описываю, то не читайте лучше моей повѣсти—вы найдете по своему характеру другія повѣсти. Но ежели

1) Это предисловіе появляется въ печати въ первый разъ.

вы точно такой, какимъ я васъ предполагаю, то я твердо убѣжденъ, что вы прочтете меня съ удовольствіемъ, тѣмъ болѣе, что при каждомъ хорошемъ мѣстѣ мысль, что вдохновляла меня, удерживала отъ глупостей, которыя я могъ бы написать, будетъ вамъ пріятна.

Чтобы быть приняту въ число моихъ избранныхъ читателей, я требую очень немногаго: чтобы вы были чувствительны, т.-е. могли бы иногда пожалѣть отъ души и даже пролить нѣсколько слезъ объ воспоминаемомъ лицѣ, котораго вы полюбили отъ сердца, порадоваться на него и не стыдились бы этого, чтобы вы любили свои воспоминанія, чтобы вы были человѣкъ религіозный, чтобы вы читали мою повѣсть, искали такихъ мѣстъ, которыя задѣвають васъ за сердце, а не такихъ, которыя заставляютъ васъ смѣяться; чтобы вы изъ зависти не презирали хорошаго круга—ежели вы даже не принадлежите къ нему; но смотрите на него спокойно и безпристрастно, и я принимаю васъ въ число избранныхъ. И главное, чтобы вы были человѣкомъ *понимающимъ*, однимъ изъ тѣхъ людей, съ которымъ, когда познакомишься, видишь, что не нужно толковать свои чувства и свое направленіе, а видишь, что онъ понимаетъ меня, что всякій звукъ въ моей душѣ отзовется въ его. Трудно, и даже мнѣ кажется невозможнымъ, раздѣлять людей на умныхъ и глупыхъ, добрыхъ и злыхъ; но *понимающіе* и *непонимающіе*—это для меня такая рѣзкая черта, которую я невольно провожу между всѣми людьми, которыхъ знаю. Главный признакъ *понимающихъ* людей—это пріятность въ отношеніяхъ,—имъ не нужно ничего уяснять, толковать, и можно съ полною увѣренностью передавать мысли самыя неясныя по выраженіямъ. Есть такія тонкія, неуловимыя отношенія чувства, для которыхъ нѣтъ яснаго выраженія, но которыя понимаются очень ясно. Объ этихъ-то чувствахъ и отношеніяхъ можно смѣло намекать, условленными словами говорить съ ними. Итакъ, главное требованіе мое—пониманіе. Теперь я обращаюсь уже къ вамъ, мой читатель, съ извиненіемъ за грубость и неплавность въ иныхъ мѣстахъ моего слога—я впередъ увѣренъ, что когда я объясню вамъ причину этого, вы не взыщете. Можно пѣть двояко: горломъ и грудью. Не правда ли, что горловой голосъ гораздо гибче грудного, но зато онъ не дѣйствуетъ на душу. Напротивъ, грудной голосъ, хотя и грубъ, беретъ за живое. Что до меня касается, то ежели я даже въ самой пустой мелодіи услышу ноту, взятую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза. То же

самое и въ литературѣ: можно писать изъ головы и изъ сердца. Когда пишешь изъ головы, слова послушно и складно ложатся на бумагу; когда же пишешь изъ сердца—мыслей въ голозѣ набирается такъ много, въ воображеніи столько образовъ, въ сердцѣ столько воспоминаній, что выраженія неточны, недостаточны, неплавны и грубы.

Можетъ-быть, я ошибаюсь, но я останавливалъ себя всегда, когда начиналъ писать изъ головы и старался писать только изъ сердца.

Еще я долженъ вамъ признаться въ одномъ странномъ предубѣжденіи.

По моему мнѣнію, личность автора-писателя (сочинителя),—личность почти поэтическая; такъ какъ я писалъ въ формѣ автобіографіи и желалъ, какъ можно болѣе заинтересовать васъ своимъ героемъ, я желалъ бы, чтобы потомъ не было отпечатка авторства, и поэтому избѣгалъ всѣхъ авторскихъ приемовъ—ученыхъ выраженій и періодовъ.





# Д Ъ Т С Т В О .

Повѣсть (1852 года).

— — —  
I.

## УЧИТЕЛЬ КАРЛЪ ИВАНОВИЧЪ.

12 августа 18.. г., ровно въ третій день послѣ дня моего рожденія, въ который мнѣ минуло десять лѣтъ и въ который я получилъ такіе чудесные подарки, въ 7 часовъ утра Карлъ Ивановичъ разбудилъ меня, ударивъ надъ самой моей головой хлопнушкой — изъ сахарной бумаги на палкѣ — по мухѣ. Онъ сдѣлалъ это такъ неловко, что задѣлъ образокъ моего ангела, висѣвшій на дубовой спинкѣ кровати, и что убитая муха упала мнѣ прямо на голову. Я высунулъ носъ изъ-подъ одѣяла, остановилъ рукою образокъ, который продолжалъ качаться, скинулъ убитую муху на полъ и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинулъ Карла Ивановича. Онъ же въ пестромъ ваточномъ халатѣ, подпоясанномъ поясомъ изъ той же матеріи, въ красной вязаной ермолкѣ съ кисточкой и въ мягкихъ козловыхъ сапогахъ, продолжалъ ходить около стѣнъ, прицѣпляться и хлопать.

«Положимъ, — думалъ я, — я маленький, но зачѣмъ онъ тревожитъ меня? Отчего онъ не бьетъ мухъ около Володиной постели? Вонъ ихъ сколько! Нѣтъ, Володя старше меня, а я меньше всѣхъ: оттого онъ меня и мучить. Только о томъ и думаетъ всю жизнь, — прошепталь я, — какъ бы мнѣ дѣлать неприятности. Онъ очень хорошо видитъ, что разбудилъ и испугалъ меня, но выказываетъ, какъ будто не замѣчаетъ... Противный человекъ! И халать, и шапочка, и кисточка — какіе противные!»

Въ то время, какъ я такимъ образомъ мысленно выражалъ свою досаду на Карла Ивановича, онъ подошелъ къ своей кровати, взглянулъ на часы, которые висѣли надъ нею въ шитомъ бисеромъ башмачкѣ, повѣсилъ хлопнушку на гвоздикъ и, какъ

замѣтно было, въ самомъ пріятномъ расположеніи духа, повернулся къ намъ.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal! — крикнулъ онъ добрымъ нѣмецкимъ голосомъ, потомъ подошелъ ко мнѣ, сѣлъ у ногъ и досталъ изъ кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карлъ Ивановичъ сначала понюхалъ, утеръ носъ, щелкнулъ пальцами и тогда только принялся за меня. Онъ, посмѣиваясь, началъ щекотать мои пятки. — Nun, nun, Faulenzer! — говорилъ онъ.

Какъ я ни боялся щекотки, я не вскочилъ съ постели и не отвѣчалъ ему, а только глубже запряталъ голову подъ подушки, изъ всѣхъ силъ брыкалъ ногами и употреблялъ всѣ старанія, чтобы удержаться отъ смѣха.

— Какой онъ добрый и какъ насъ любить, а я могъ такъ дурно о немъ думать!

Мнѣ было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотѣлось смѣяться и хотѣлось плакать: нервы были разстроены.

— Ach, lassen sie, Карлъ Ивановичъ! — закричалъ я со слезами на глазахъ, высовывая голову изъ-подъ подушекъ.

Карлъ Ивановичъ удивился, оставилъ въ покоѣ мои подошвы и съ безпокойствомъ сталъ спрашивать меня: о чемъ я? не видѣлъ ли я чего дурного во снѣ?.. Его доброе нѣмецкое лицо, участіе, съ которымъ онъ старался угадать причину моихъ слезъ, заставляли ихъ течь еще обильнѣе: мнѣ было совѣстно, и я не понималъ, какъ за минуту передъ тѣмъ я могъ не любить Карла Ивановича и находить противными его халатъ, шапочку и кисточку; теперь, напротивъ, все это казалось мнѣ чрезвычайно милымъ и даже кисточка казалась явнымъ доказательствомъ его доброты. Я сказала ему, что плачу оттого, что видѣлъ дурной сонъ — будто мама умерла и ее несутъ хоронить. Все это я выдумалъ, потому что рѣшительно не помнилъ, что мнѣ снилось въ эту ночь; но когда Карлъ Ивановичъ, тронутый моимъ рассказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать меня, мнѣ казалось, что я точно видѣлъ этотъ страшный сонъ, и слезы полились уже отъ другой причины.

Когда Карлъ Ивановичъ оставилъ меня и я, приподнявшись на постели, сталъ натягивать чулки на свои маленькія ноги, слезы немного унялись, но мрачныя мысли о выдуманномъ снѣ не оставляли меня. Вошелъ дядька Николай, маленькій, чистенькій чело-вѣчекъ, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой пріятель Карла Ивановича. Онъ несъ наши платья и обувь: Володѣ сапоги, а мнѣ покуда еще несносные башмаки съ бантиками. При немъ мнѣ было бы совѣстно плакать; притомъ утреннее солнышко весело свѣтило въ окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), такъ весело и звучно смѣялся, стоя надъ умывальникомъ, что даже серьезный Николай съ полотенцемъ на плечѣ, съ мыломъ въ одной рукѣ и съ рукоюйникомъ въ другой, улыбаясь, говорилъ:

— Будетъ вамъ, Владимиръ Петровичъ, извольте умываться.

Я совсѣмъ развеселился.

— Sind sie bald fertig? — послышался изъ классной голосъ Карла Ивановича.

Голосъ его былъ строгъ и не имѣлъ уже того выраженія доброты, которое тронуло меня до слезъ. Въ классной Карлъ Ивановичъ былъ другой человѣкъ: онъ былъ наставникъ. Я живо одѣлся, умылся и еще со щеткой въ рукѣ, приглаживая мокрые волосы, явился на его зовъ.

Карлъ Ивановичъ съ очками на носу и книгой въ рукѣ сидѣлъ на своемъ обычномъ мѣстѣ, между дверью и окошкомъ. Надѣво отъ двери были двѣ полочки: одна — наша, дѣтская, другая — Карла Ивановича, *собственная*. На нашей были всѣхъ сортовъ книги — учебныя и неучебныя; однѣ стояли, другія лежали. Только два большихъ тома Histoire des voyages, въ красныхъ переплетахъ, чинно упирались въ стѣну; а потомъ и пошли длинныя, толстыя, большія и маленькія книги, — корочки безъ книгъ и книги безъ корочекъ; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажутъ, передъ рекреаціей, привести въ порядокъ «библіотеку», какъ громко называлъ Карлъ Ивановичъ эту полочку. Коллекція книгъ на *собственной* если не была такъ велика, какъ на нашей, то была еще разнообразнѣе. Я помню изъ нихъ три: нѣмецкую брошюру объ уваживаніи огородовъ подъ капусту — безъ переплета, одинъ томъ исторіи семилѣтней войны — въ пергаментѣ, прожженномъ съ одного угла, и полный курсъ гидростатики. Карлъ Ивановичъ большую часть своего времени проводилъ за чтеніемъ, даже испортилъ имъ свое зрѣніе, но, кромѣ этихъ книгъ и *Сѣврной Пчелы*, онъ ничего не читалъ.

Въ числѣ предметовъ, лежавшихъ на полочкѣ Карла Ивановича, былъ одинъ, который больше всего мнѣ его напоминаетъ. Это — кружокъ изъ картона, вставленный въ деревянную ножку, въ которой кружокъ этотъ подвигался посредствомъ шпенокъ. На кружкѣ была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карлъ Ивановичъ очень хорошо клеилъ и кружокъ этотъ самъ изобрѣлъ и сдѣлалъ для того, чтобы защищать свои слабые глаза отъ яркаго свѣта.

Какъ теперь, вижу я передъ собой длинную фигуру въ ваточномъ халатѣ и въ красной шапочкѣ, изъ-подъ которой виднѣются рѣдкіе сѣдые волосы. Онъ сидитъ подлѣ столика, на которомъ стоитъ кружокъ съ парикмахеромъ, бросавшій тѣнь на его лицо: въ одной рукѣ онъ держитъ книгу, другая покоится на ручкѣ кресель; подлѣ него лежатъ часы съ нарисованнымъ егеремъ на циферблатѣ, клѣтчатый платокъ, черная круглая табакерка, зеленый футляръ для очковъ, щипцы на лоточкѣ. Все это такъ чинно, аккуратно лежитъ на своемъ мѣстѣ, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совѣсть чиста и душа покойна.

Бывало, какъ досыта набѣгаешься внизу по залѣ, на цыпочкахъ прокрадешься наверхъ, въ классную, смотришь — Карль Ивановичъ сидитъ себѣ одинъ на своемъ креслѣ и съ спокойно-величавымъ выраженіемъ читаетъ какую-нибудь изъ своихъ любимыхъ книгъ. Иногда я заставалъ его и въ такія минуты, когда онъ не читалъ: очки спускались ниже на большомъ орлиномъ носу; голубые полузакрытые глаза смотрѣли съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ, а губы грустно улыбались. Въ комнатѣ тихо; только слышно его равномерное дыханіе и бой часовъ съ егеремъ.



Карль Ивановичъ сидитъ себѣ одинъ на своемъ креслѣ и съ спокойно-величавымъ выраженіемъ читаетъ какую-нибудь изъ своихъ любимыхъ книгъ.

Бывало, онъ меня не замѣчаетъ, а я стою у двери и думаю: «Бѣдный, бѣдный старикъ! Насъ много, мы играемъ, намъ весело, а онъ — одинъ-одинешенекъ и никто его не приласкаетъ. Правду онъ говоритъ, что онъ сирота. И исторія его жизни какая ужасная! Я помню, какъ онъ рассказывалъ ее Николаю — ужасно быть въ его положеніи!» И такъ жалко станеть, что, бывало, подойдешь къ нему, возьмешь за руку и скажешь: «lieber Карль Ивановичъ!» Онъ любитъ, когда я ему говорилъ такъ; всегда приласкаетъ, и видно, что растроганъ.

На другой стѣнѣ висѣли ландкарты, всѣ почти изорванныя, но искусно подклеенныя рукою Карла Ивановича. На третьей стѣнѣ, въ серединѣ которой была дверь внизъ, съ одной стороны висѣли двѣ линейки: одна — изрѣзанная, наша, другая — новенькая,

*собственная*, употребляемая имъ болѣе для поощренія, чѣмъ для линеванія; съ другой — черная доска, на которой кружками отмѣчались наши большіе проступки и крестиками — маленькіе. Налѣво отъ доски былъ уголь, въ который насъ ставили на колѣни.

Какъ мнѣ памятенъ этотъ уголь! Помню заслонку въ печи, отдушникъ въ этой заслонкѣ и шумъ, который онъ производилъ, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь въ углу, такъ что колѣни и спина заболятъ, и думаешь: «Забылъ про меня Карлъ Ивановичъ: ему, должно-быть, покойно сидѣть на мягкомъ креслѣ и читать свою гидростатику, а каково мнѣ?» И начнешь, чтобы напомнить о себѣ, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стѣны; но если вдругъ упадетъ съ шумомъ слишкомъ большой кусокъ на землю — право, одинъ страхъ хуже всякаго наказанія. Оглянешься на Карла Ивановича, а онъ сидитъ себѣ съ книгой въ рукѣ и какъ будто ничего не замѣчаетъ.

Въ серединѣ комнаты стоялъ столъ, покрытый оборванною черною клеенкой, изъ-подъ которой во многихъ мѣстахъ виднѣлись края, изрѣзанные перочинными ножами. Кругомъ стола было нѣсколько некрашенныхъ, но отъ долгаго употребленія залакированныхъ табуретовъ. Послѣдняя стѣна была занята тремя окошками. Вотъ какой былъ видъ изъ нихъ: прямо подъ окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешекъ, каждая колен давно знакомы и милы мнѣ; за дорогой — стриженная липовая аллея, изъ-за которой кое-гдѣ виднѣется плетеный частоколъ; черезъ аллею виденъ лугъ, съ одной стороны котораго гумно, а напротивъ лѣсъ; далеко видна избушка сторожа. Изъ окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало, покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ; такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю?» Досада перейдетъ въ грусть и, Богъ знаетъ отчего и о чемъ, такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.

Карлъ Ивановичъ снялъ халатъ, надѣлъ синій фракъ съ вышешіями и сборками на плечахъ, оправилъ передъ зеркаломъ свой галстукъ и повелъ насъ внизъ здороваться съ матушкой.

II.

М А М А Н .

Матушка сидѣла въ гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайникъ, другою — кранъ самовара, изъ котораго вода текла черезъ верхъ чайника на поднось. Но хотя она смотрѣла пристально, она не замѣчала этого, не замѣчала того, что мы вошли.

Такъ много возникаетъ воспоминаній прошедшаго, когда стараешься воскресить въ воображеніи черты любимаго существа, что сквозь эти воспоминанія, какъ сквозь слезы, смутно видишь ихъ. Это слезы воображенія. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какою она была въ это время, мнѣ представляются только ея каріе глаза, выражающіе всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шеѣ, немного ниже того мѣста, гдѣ вьются маленькіе волосики, шитый бѣлый воротничокъ, нѣжная сухая рука, которая такъ часто меня ласкала и которую я такъ часто цѣловалъ; но общее выраженіе ускользаетъ отъ меня.

Налѣво отъ дивана стоялъ старый англійскій рояль; передъ роялемъ сидѣла черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодною водою пальчиками съ замѣтнымъ напряженіемъ разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лѣтъ; она ходила въ коротенькомъ холстинковомъ платицѣ, въ бѣленькихъ обшитыхъ кружевомъ панталончикахъ и октавы могла брать только «agreggio». Подлѣ нея вполоборота сидѣла Марья Ивановна въ чепцѣ съ розовыми лентами, въ голубой кацавейкѣ и съ краснымъ сердитымъ лицомъ, которое приняло еще болѣе строгое выраженіе, какъ только вошелъ Карлъ Ивановичъ. Она грозно посмотрѣла на него и, не отвѣчая на его поклонъ, продолжала, топая ногой, считать: un, deux, trois, un, deux, trois, еще громче и повелительнѣе, чѣмъ прежде.

Карлъ Ивановичъ, не обращая на это ровно никакого вниманія, по своему обыкновенію, съ нѣмецкимъ привѣтствіемъ подошелъ прямо къ ручкѣ матушки. Она опомнилась, тряхнула головой, какъ будто желая этимъ движеніемъ отогнать грустныя мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцѣловала его въ морщинистый високъ, въ то время, какъ онъ цѣловалъ ея руку.

— Ich danke, lieber Карлъ Ивановичъ, — и, продолжая говорить по-нѣмецки, она спросила:

— Хорошо ли спали дѣти?

Карлъ Ивановичъ былъ глухъ на одно ухо, а теперь отъ шума за роялемъ вовсе ничего не слыхалъ. Онъ нагнулся ближе къ дивану, оперся одной рукой о столъ, стоя на одной ногѣ, и съ улыбкой, которая тогда мнѣ казалась верхомъ утонченности, приподнял шапочку надъ головой и сказалъ: